

безымянный “писарь” со специфическим почерком был читателем серьезным и сведущим. Или эти краткие замечания внесены по указанию другого лица? Трудно представить.

В рецензии В. В. Кускова на нашу юбилейную книгу 1985 года сказано: “Прежде всего, обращает на себя внимание упомянутое воспроизведение первого издания. Этот экземпляр воспроизводится впервые, и он необычайно интересен и важен для текстологического изучения поэмы. Дело в том, что в его печатный текст почерком начала XIX века внесено, по подсчетам Р. П. Дмитриевой, 71 исправление, 16 из которых совпадают с известной Екатерининской копией рукописи “Слова”. Эти исправления касаются написания отдельных слов, пунктуации. Более того, текст поэмы разбит на 12 песен, что свидетельствует о попытке уже в начале XIX века решить проблему его композиции”.

Ю. В. Кондакова
Екатеринбург

ГДЕ ГОРЕ, ТАМ И СМЕХ

(к вопросу о поэтике инферального у Н. В. Гоголя)

“Пара грех и смех “прозрачна” для христианства, устанавливающего меж ее членами твердое равенство и называющего и то и другое злом, - писал Л. В. Карасёв в своей работе “Философия смеха” (1995) (ср.: народные пословицы: Мал смех, да велик грех. Много смеха, да не мало и греха. В чем живет смех, в том и грех). Являясь антитезой слезам и благу, смех и зло родственны друг другу, проступая “в личине смеющегося дьявола, в ухмылках всех его двойников, заместителей и слуг: бесовский мир наполняется бесовским хохотом”.

В гоголевских произведениях смех часто связан с происками нечистой силы. Не случайно на деда, героя “Пропавшей грамоты”, попавшего в пекло, “несмотря на весь страх, смех напал”, а над ним в свою очередь потешается бесовщина: адские чудовища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда захолонуло”. Нечисть насмехается над героем “Заколдованного места”, неумеренно поминающего черта: “Вишь, сатанинское наваждение! впутается же Ирод, враг рода человеческого /.../ А, шельмовской сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! /.../ И в самом деле кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего /.../ Вот куда затащила нечистая сила!”

Звонкий смех прекрасной полячки приводит в ошолобление Андрия, героя “Тарасы Бульбы”: “Она смеялась от всей души и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел” (ср.: восклицание Хома, посмотревшего на лежащую в гробе ведьму-панночку: “Такая страшная, сверкающая красота!”). Смех красавицы отдает в ее власть пробравшегося ночью в спальню полячки бурсака: “Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. /.../ Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке” (ср.: философ Хома оказывается во власти ведьмы: “Философ /.../ к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались”). Встретившаяся Андрию в осажденном городе, ставшая еще прекраснее полячка удивительно напоминает собой панночку-ведьму из “Вия”. Но если Хома бежит от бесовской красоты, то Андрий всецело отдается ей, становясь предателем рода, отчизны, веры. Звенящий смех и инфернальная красота полячки делают свое черное дело.

На пугающей силе смеха построена гоголевская “Страшная месть”. Ужасающий смех преследует колдуна повсюду; из-за того, что ему почудилась усмешка на лице схимника, “неслыханный грешник” убивает святого старца. А когда уже прямо перед собой видит колдун своего мстителя, то слышится самый страшный смех: “Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!”. Ужасающий смех посылает в мир мстительный всадник, в ответ на тот злорадный сатанинский смех, каким засмеялся казак Петро, stalkивая в пропасть своего нареченного брата Ивана вместе с его малолетним сыном. И мир терпит бедствия от “Смеха-Немезиды” (Ю. Айхенвальд): “... и пошло от того трясение по всей земле. И много поопорокидывалось везде хат. И много задавило народу”.

“Дьявол в человеческом образе”, Басаврюк с “бесовской усмешкою” соблазняет Петруся деньгами: Ге-ге-ге! да как горит! Ге-ге-ге! да как звенит! А ведь и дела только одного и потребую за целую гору таких цацек”. “Дьявол! /.../ Давай его! на все готов!” - поддается на бесовские уговоры Петрусь. Очнувшись через три дня после страшной ночи, он забывает об ужасной цене клада. Но именно забытое не дает покоя Петру, и только приглашенная Пидоркой колдунья пробуждает память о страшном грехе: “Вдруг он весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою... и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки”. Жуткий сатанинский смех вышедшего из оцепенения Петро звучит отголоском того самого “дьявольского хохота”, загремевшего отовсюду, когда происходит детоубийство. От

грешника Петро остается кучка пепла, а Басаврюк еще долго не давал жителям хутора покоя. "Смейтесь, однако не до смеха было нашим дедам", - устами рассказчика-дьячка Фомы Григорьевича говорит сам автор, как никто ощущающий страшную силу смеха. "Я увидел, что со смехом надо быть очень осторожным", - пишет Гоголь в "Авторской исповеди". И, надо сказать, это верное предупреждение.

А. А. Кораблев
Донецк

КОНТУРЫ ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1. Существует известное несоответствие между понятиями "литература" и "русская литература". Русская литература, если судить по многочисленным попыткам определить ее своеобразие, не вполне отвечает тому, что можно было бы назвать мировым литературным стандартом. Русский писатель европейского типа, например Тургенев, в русской ценностной системе хотя и признан, но не превознесен. И наоборот, Пушкин, "русский человек в его развитии", как назвал его Гоголь, остается для мирового читателя по существу непрочитанным и неоцененным. По этой же причине и сам Гоголь воспринимается и принимается лишь "наполовину", в литературно-художественной его ипостаси, а Достоевский, да и Толстой, отнюдь не обойденные читательским вниманием, актуально приемлемы, по выражению Т. Манна, лишь "в меру". Возможно, именно это "сверхмерность" русской литературы и составляет первопричину ее своеобразия и притягательности. Так, старшие символисты, русские европейцы, куда менее интересны зарубежным литературоведам, нежели младосимволисты, переходящие границы литературы, создатели нового "миропонимания" и "новой жизни".

2. Русские литературные споры XIX века были, как мы теперь понимаем, вовсе не о литературе, а о том переизбытке, который в ней всеми ощущался и делал ее более чем литературой. Русскими философами и поэтами рубежа XIX-XX вв. было найдено слово для обозначения такого искусства: т е у р г и я. Ими же был уяснен и определен смысл этого "богоделания": в том, что сознательно или бессознательно подготавливалось русскими художниками "золотого века" и уже более осознанно творилось в "серебряном веке", они различили черты Третьего, Вечного Завета - Завета Духа Святого.

Допустим, что Третий Завет - это не поэтическая вольность, не метафора, не риторический оборот, а что русская литература XIX-XX